

Ольга Форш

Одеты камнем



*Часть сборника
Михайловский замок (сборник)*



Ольга Форш

Одеты камнем

«АСТ»

1925

Форш О. Д.

Одеты камнем / О. Д. Форш — «АСТ», 1925

ISBN 978-5-17-065224-2

«Одеты камнем» рассказывает о времени царствования императора
Александра II.

ISBN 978-5-17-065224-2

© Форш О. Д., 1925
© АСТ, 1925

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	17
Глава четвертая	26
Глава пятая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Ольга Форш

Одеты камнем

© Форш О. Д., наследники

© ООО «Издательство Астрель»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*«Одет камнем при императрице Екатерине II».
Надпись на Трубецком бастионе*

Часть первая

Глава первая Бывший человек

Двенадцатого марта 1923 года, в день, когда мне, Сергею Русанину, стукнуло восемьдесят три года, произошло нечто, добившее в корне мои чувства монархиста и дворянина. Одновременно с этим пал последний запрет с моих уст предать гласности то, что хранил я в безмолвии всю жизнь. Но об этом потом...

Я родился в сороковом году, пережил четырех императоров и четыре крупных войны; из них последняя – беспримернейшая и мировая. Я служил в кавалерии, отличался на Кавказе и пошел было в гору, но в восемьдесят седьмом году одно событие меня выбило из седла, так сказать, без возврата в первобытное состояние. Я вышел в отставку и зарылся отшельником в своем имении, пока в революцию его не сожгли. Наше Угорье – Н-ской губернии, рядом с бывшим имением Лагутина.

Вместе дедушки покупали, вместе бабушки обсуждали, что, дескать, подрастут: у одних внук, у других внучка и, соединившись узами Гименея, естественно, сольют воедино угоды. В таком расчете и в соответствии с планом местности и покупали дальнейшие десятины.

Да, вместе росли, играли, учились я и Вера Лагутина. В семнадцать лет соловья слушали и кое в чем обещались навеки. И вышло бы все так, как тогда выходило, по родительскому предreshению с отвечающим расположением взаимности, если бы не собственная (моя) дурость. Сам себе яму вырыл.

Привез я на последние каникулы своего товарища Михаила. В пятьдесят девятом году поступил он к нам из киевского Владимирского кадетского корпуса прямо на третий курс, а мы все – из столичных кадет, косились на провинцию. Да и нелюдимый он был такой, все читает. Из себя же весьма пригож, вроде итальянца: глаза горят, а брови союзные. Родом он был из Бессарабии; по отцу не то румын, не то молдаванин.

Про наружность Михаила в архивных о нем изысканиях нет ни слова, да и не мудрено. В тюрьме запечатлевают того, кому хоть когда-нибудь суждено быть на свободе, на случай, если он опять в чем-нибудь попадетсЯ. У Михаила же судьба иная: о нем, на протяжении двадцати лет, каждое первое число месяца шел государю доклад: там-то сидит такой-то...

И каждый раз государю благоугодно было подтвердить собственный приказ от шестидесяти первого года, второго ноября, об оставлении Михаила в одиночном заключении впредь до особого распоряжения.

Типографии эти последние слова надлежит всегда брать в разрядку, чтобы хоть своим внешним видом, отличным от однородного шрифта страниц, одернуть равнодушного читателя, преданного одним собственным радостям и страданиям.

Внимание, читатель, внимание! Особого распоряжения не последовало ни-ко-гда!

Заключенный без суда и без следствия, по одному собственному оговору, прекраснейший юноша свои юные и зрелые годы до самой смерти провел в одиночестве в Алексеевском равелине.

Последующему царю Александру III директором департамента полиции Плеве был представлен все тот же доклад, и записано высочайшее повеление: если узник пожелает, выпустить его и свезти в далекие малолюдные места Сибири на жительство.

Правдоподобно допустить, что, при общей системе жестокого лицемерия, начальник тюрьмы представил эту резолюцию давно безумному человеку, забывшему даже собственное

имя. И в ответ на торжественно прочтенную бумагу, вызывая хохот сторожей, Михаил, должно быть, нырнул под койку и плотно забился к стене, как проделывал он позднее в сумасшедшем доме в Казани, когда входил в одиночку к нему человек.

Не проделал он этого только при последней встрече со мной, и лишь потому, вероятно, что прыгнуть с койки у него уже не было сил. Ведь это был его последний, смертный час. Но ужас его раскрытых глаз при виде близко подошедших людей и смертная мука замученного, которому бы убежать от мучителей, – это все со мною о утра и до вечера, все часы моей жизни.

И как могло быть иначе? Ведь не кто иной, как я, истинный виновник этой беспримерной, превышающей силы человека, одинокой и ненужной гибели.

Иной читатель, прочтя мои записки, скажет, что состав моего преступления, так сказать, психологический и что строжайший суд меня бы оправдал. Но разве не известен читателю случай, когда иной даже совсем безответственный человек, оправданный единогласно присяжными, кончал с собой, засудив себя судом собственной совести?

Загадочность судьбы Михаила давно волновала исследователей. Один из них, желая раскрыть тайну этой русской Железной Маски, еще в 1905 году обращался в печати ко всем, прося дать хоть какие-нибудь сведения, проливающие свет на это дело. Я заболел нервным расстройством, но сведений не дал. Я еще не был готов. Я еще был не тот, что сейчас. Я не мог сказать громко: предатель Михаила Бейдемана, заключенного без суда и следствия в Алексеевском равелине, – я, Сергей Русанин, его товарищ по Константиновскому училищу.

Совсем недавно собраны и оглашены подлинные архивные документы об особо важных, донныне таинственных узниках.

Иван Потапыч, мой хозяин из общежития, приносит книжку, другую. Принес и эти листки. Сам прочел и дал мне: вот, говорит, житие многострадальных людей; хоть и злоумышленники они, а без слез не прочесть.

Взял я, многократно прочел... О, как жестоки, как обличительны неподкупные события в кратких сведениях о Михаиле! Земля ушла из-под ног. Некая громада рухнула, придавила. Так, верно, бывает, когда минер той самой миной, что им заложена, чтобы взорвать неприятеля, взрывается сам. Шестьдесят один год тому назад была заложена моя мина.

Да, конечно, не мне, старику, пережившему четыре царствования четырех императоров, было безнаказанно переживать революцию.

Зачем не погиб я с доблестью, как погибли товарищи, на поле бранном или по приговору Ревтрибунала как несокрушимый, но честный враг? Кем войду я в память потомства? Как назовут?

Но будь что будет: мой час пробил, и я все расскажу.

От производства шестьдесят первого года сейчас нас осталось два константиновца: я и Горецкий 2-й, генерал от инфантерии, кавалер Георгия высшей степени при золотом оружии. Ныне Горецкий 2-й с трудкнижкой – Савва Костров, гражданин города Велижа, надзиратель в театре за мужской уборной.

Наголодавшись, он доволен тихим местом, хвалится, что порядок навел образцовый, а чаевых столько, что хватает ему на халву. Человек, в свое время проевший два состояния, ныне, как маленький, рад фунту халвы.

В последнюю встречу я спросил его: «А помнишь ли, братец, атаку аула Гильхо?» Взбодрился, замахнулся, как саблей, старой шваброй, которой тер изразцовый пол своего учреждения. Подробно вел речь. Но вот генерала назвал он неверно. Не Войноранский, а сам он, Горецкий 2-й, в безумной вылазке взял этот аул.

Старик пропустил себя, забыл свое имя. Михаил Бейдеман в безумии звал себя – Шевич, запомнив случайную надпись на стене, а я... да неужто исполнится надо мной то предсказание в Париже?

Но это не к делу. Хотя, конечно, как говорят китайцы, предав гласности мои записки, я потеряю свое лицо.

Еще при жизни выпадает на долю иного человека умереть и будто жить снова. Вернее, какой-то оставшейся силой, объедками себя самого, таскать, пока оно не истлеет, свое изможденное тело.

Горецкий 2-й на коне, перед войском, сабля наотмашь, – так его печатали полвека назад, – и он же блюститель уборной.

Я дал ему на четверть фунта халвы, когда недавно, прощаясь, поцеловал его, единственного, который знает меня как Сергея Русанина.

Когда рукопись эта появится в свет и о том, кто был я в отношении к другу, узнает всякий, надо надеяться, я не буду в живых.

Вон оно предо мною – роковое мне изыскание о судьбе Михаила! В комиссию архивных работ пошлю и я свою лепту. В ней будет заключаться как раз то, чего узнать невозможно ни из каких источников, кроме одной моей погибшей души.

Я живу в большом доме, имеющем историческое прошлое. В зале его с лепным потолком бывали блестящие балы, а у меня – первые успехи в свете. Позднее, при переходе дома в частные руки, я там продувался на бильярде Горецкому, который без промаха резал шара и в среднюю лузу и в угол и знаменит был своими клопштоссами. Там же, в отдельных кабинетах, мы напивались до положения риз, и лакеи, завернув нас в николаевки, развозили под утро домой.

У меня кутежи эти были припадками от невыносимых страданий несчастной любви к Вере, – о ней повесть ниже. Особенно бесшабашен был я в тот год, когда Михаил прямо из войск Гарибальди, едва вступив на границу Финляндии, пропал без вести и, как сейчас только стало известно, уже на веки вечные был замурован в каменный мешок равелина.

Но вернемся к порядку дня, как сейчас говорят...

Ныне я помещаюсь на третьем дворе, в самом поднебесье этого многопамятного мне дома.

Меня взял жильцом-нянькой к внучатам Иван Потапыч, бывший лакей последнего владельца.

Ивану Потапычу всего шестьдесят лет, и он крепкий старик бобыль с двумя девчонками. Невестку с сыном унес тиф, дети сами пришли к дедушке, куда же им еще?

Здесь, в доме, общежитие и столовая. Потапыч ходит мыть посуду, за что повар ему отпускает обед: супа – три порции, второго – две. Одной тарелкой с ломтем черного хлеба я сыт, пусть едят молодые. А к детям я привязан. В эти страшные годы только с ними забывался порой.

Ну, сейчас не до них; впрочем, и я им не нужен после того, как отвел их в школу. Со второго дня они пошли сами.

Потапыч день-деньской при посуде, говорит: «При нэпе все взбогатели, опять пачкают и мелкое и глубокое».

До сумерек в комнате никого. Когда я не на промысле, то можно писать. А промысел мой один – подавание. Я хожу вдоль Невского по теневой стороне, от Полицейского моста до Николаевского вокзала, норовлю на трамвае обратно. Беда с ногами, пухнут ноги-то!

Когда прошу, много знакомых лиц вижу; все тем же заняты. Они меня не знают, а я узнаю. Хотя сам я, как сказано, давно выбыл из строя, но, приезжая в столицу, новым ходом жизни интересовался. Показывали видных людей, называли...

Ну, а сами-то небось знают друг друга досконально, Но, хотя и с протянутой рукой, бывает, столкнутся, – а всё будто незнакомые. Так им легче.

Вот товарищ министра, да какого... продает газеты. Среди них – ныне модный «Безбожник». Ежели у покупателя вид неопасный, вроде прежнего, продавец не удержится, ска-

жет: «Это вам стыдно, гражданин, покупать». А когда ему обратно: «А продавать вам не стыдно?» – вспыхнет, уйдет бородою в пальтишко, прошепчет: «Мне неволя!»

Однако зря я болтаю все. К делу. Затруднительно мне сейчас выражение мыслей плавное и в последовательности. Все я с детворою, и у самого речи детские. Но предполагаю так: не стесняя естественности изложения, буду писать, как пишется, без отсекования само собой вступающей современности. Перед отправкою рукописи в «Архивные изыскания» сделаю выборку и приведу все в отменный порядок, имеющий в виду одну цель: по мере возможности воскресить многострадальную память друга.

Для экземпляра, предназначенного гласности, коплю белую линованную бумагу первейшего сорта, для чего удвоил свою прогулку по Невскому, предприняв ее по солнечной стороне. А в трамвае платном я себе отказал. Если кондукторша не везет христа ради (а «подайте безработному товарищу», как ныне принято, я не прошу), то на ближайшей остановке слезаю и тихо бреду, как пес, в свою конуру.

Все сторублевки коплю я на бумагу, перо и чернила для чистового. Этот же черновик предпринимаю на обратной стороне страховых квитанций бывшего Центрального банка. Квитанции эти наши девочки в обилии натаскали из нижнего этажа...

Пойдем же, читатель, шаг за шагом за мной по скорбным следам Михаила, со дня нашей с ним первой встречи. И прежде всего к Обухову мосту, где стоит наше училище. Там были мы юнкерами, оттуда были выпущены в один и тот же Орденский полк.

Наше училище мало изменилось с тех пор. У него все тот же благородный фасад с александровской колоннадой; только проспект, на котором он стоит, переименован в Международный, как отражающий революционное время, и на самом училище значится красными буквами так: «1-я артшкола».

Но по-прежнему возглавляют окна первого этажа львы, держащие в зубах кольцо, а повыше – шлемы с перьями. Две пушки при входе – не наши, это после переименования училища в артиллерийское. В мое же время оно было пехотным, так что присвоены нам были винтовки, и ходили мы держать внутренний караул во дворец, посещали балы в институтах, словом – были на положении гвардейских училищ. От этой близости к жизни двора, от чтения заграничных изданий, в частности проклятого «Колокола» господ Огарева и Герцена, – вся трагедия Михаила. Но о ней – в свое время...

На входных воротах училища и сейчас щиты со скрещенными секирами, а за каменным желтым забором – тенистый сад. Белые легкие березки ныне разрослись в два обхвата.

Круто замешены люди нашего века: пережить то, что пережил я, а память не только свежа: все, что ни вызовешь, – оно тут как тут, перед тобою.

Я помню план нашего сада, всматриваюсь, узнаю: да, конечно, это они. Вот те два стройных клена среди лип, знак краткой дружбы с Михаилом. Помню, как мы прочли вместе Шиллера и в честь Позы и Карлоса, – а я, со своей стороны, подразумевая нас обоих, – посадили эти два дерева.

О, сколь знаменательны порой и чреватые содержанием иные выражения чувства!

Я зашатался, кружилась голова. Острой болью рвануло сердце. Опираясь на палку (спасибо внукам Потапыча, что приделали к ней резиновый наконечник, не скользит больше палка), я сел на тумбу против забора.

Афиши рябят перед глазами: «Общество друзей воздушного флота»... «Призыв к красной деревне красных инструкторов»... «Реформа старой церкви».

И тут же, превыше всего, с разноцветными какими-то змеями: «Синтетический театр». От трапедии до трагедии покажет все один, как есть, Кобчиков...

И как это управится он один? Прыгает в бедной моей голове, и кажется мне, что я с ума сошел. Не вместить мне, не выдержать своих мыслей. Ведь рядом с тем, что кругом себя вижу, возникает еще с большей яркостью то, что сметено историей в могилу. Сметено, да не забыто!

Помню нашу первую встречу. Я достаивал штрафной под часами за опоздание на молитву, когда Петька Корский, пробежав мимо, крикнул:

– Из Киева к нам хохлов привезли, а с ними сам черт, ей-богу!

Новичков провели мимо меня в баню. Их было четверо. Трое, как говорится, без особых примет, но последний, высокий и тонкий, с черными бровями, был весьма приметен. Еще выделялся он тем, что ни в одном движении у него не было общей всем нам фрунтовой невыразительности.

Голова чуть закинута назад, шаг свободный, и на бледно-матовом лице, с резкою, как бы углем обведенною бровью, печаль и задумчивость. Мне он показался очень красив и понравился.

В этот же день вечером произошел наш первый, знаменательный разговор с Михаилом. Оказалось, что кровать его рядом с моей. После ужина и молитвы юнкера в дортуаре одни, и это было наше самое любимое время.

Хотя карты строго воспрещены, но, разумеется, у каждого под матрацем колода, и сейчас, пользуясь бесконтрольностью, дуются. Для отвода глаз на столе целая фортеция библиотечных книг, и по жребии выбранный читает вслух. На этот раз чтение было не только отводом глаз: вокруг выбранного густо сидели на скамьях и на столе, жадно слушая увлекательные главы «Князя Серебряного». Роман еще не вышел из печати и в редком рукописном экземпляре попал от приятеля автора к юнкерам.

– И охота жевать расписной пряник на розовой водице, – сказал досадливо Михаил, проходя к своей койке. Ни чтец, ни слушатели не обратили на эти слова внимания, но я их себе очень отметил.

Я слышал от тетушки моей, графики Кушиной, что недавно весь двор восхищался «Князем Серебряным», которого автор самолично читал на вечерних собраниях у императрицы. По окончании чтения императрица поднесла графу золотой брелок в форме книги. На одной стороне стояло: «Мария», на другой: «В память «Князя Серебряного»», и в образах муз портреты прекрасных фрейлин-слушательниц. Правда, князь Барятинский нашел роман этот пустым, но это, конечно, была лишь понятная зависть одного светского человека к светским успехам другого. Но Михаил ведь ни по рождению, ни по вкусам не стремился к придворной жизни. Какой же зуб он мог иметь против графа Алексея Константиновича Толстого?

Я лег в свою постель рядом с постелью Михаила, и, видя, что он еще не спит, я спросил его о значении брошенной им фразы. Он разъяснил охотно и без всякого высокомерия, как я ожидал:

– Видите ли, сам граф Толстой, как мне доподлинно известно через одного близкого ему друга, говорил, что, изображая обезумевшего от власти деспота, он часто бросал перо – не столько от мысли, что мог существовать такой Иоанн Грозный, сколько от мысли, что могло существовать общество, которое терпело его и ему покорялось. Но этого своего гражданского чувства он в роман не перенес, а покрыл его сусальной позолотой. Вот на трилогию, которой он теперь занят, надеюсь я более.

– А я слышал, что эта трилогия – затея предрозостная и едва ли будет одобрена нашей цензурой.

– Очень возможно; в трилогии, хотя прикровенно и косвенно, но как-никак убивается самодержавие, – сказал Михаил. – Конечно, это в случае, если будет таково выполнение, каков проспект, поведенный графом в кружке приятелей. Опять Иоанн Грозный, в угоду своему тиранству, попирает все права человеческие. В лице царя Федора, лично высокого, развенчание царской власти как таковой. Борис Годунов – реформатор. Но борьба за власть убьет его волю и сведет с ума... Да, подобное произведение сейчас, накануне реформ, когда писатель-гражданин так желателен, можно приветствовать.

И с особой выразительностью он произнес:

– Ведь наверху раньше всех должны понять, что реформы и самодержавие несовместимы! Начав делать реформы, надлежит отказаться от самодержавия, которое есть злая ложь.

В окно смотрела луна прямо в лицо Михаила. С пламенными глазами и вдохновительной бледностью оно было и прекрасно и страшно.

– Я возмущен вашими словами, – сказал я, – и даже не позволю себе понимать их во всем их значении. Они меня оскорбляют.

– Вот как? Это мне любопытно! – И Михаил, приподнявшись на локте, с вниманием меня оглядел, как будто увидел впервые.

Это была его особенность. Он не различал людей, когда говорил. Так сильна была его собственная внутренняя жизнь, что, лишь встречая противодействие, он, как степной конь, наскочив на препятствие, взвивался на дыбы и сверкающим оком глядел, куда ему дальше ступить. Впрочем, у него было много природной мягкости и нежелания задеть лично.

– Отчего же вам оскорбительны мои мнения? – Мои противоположны, сказал я. – Моя тетушка, графиня Кушина, заменившая мне мать, воспитала меня не только в чувствах верноподданного, но и в религиозном обосновании этих чувств.

– У вашей тетушки бывают славянофилы? – прервал меня Михаил.

– Не они именно, но писатели, не чуждые им, бывают. Вот не хотите ли пойти со мной туда в первое воскресенье?

И сейчас не могу понять, как это я мог позвать Михаила. Впрочем, пугаясь бестактности, которая могла бы легко возникнуть по причине его дерзких суждений, я, спохватившись, тогда же сказал:

– Предупреждаю вас, моя тетушка против немедленного освобождения крестьян, так что для вас многое в ее гостиной может оказаться не по душе.

– Это нимало меня не смущает, – возразил Михаил. – Чтобы вернее разбить врагов, их надо видеть вблизи!

И, засмеявшись, он сверкнул мелкими белыми зубами.

В нем как-то не было переходов. Начиная с шага внезапного и резкого, все, до черных бровей на белом лице, до прыжков речи от угрожающей к детски доверчивой и простодушной, все обличало в нем, как теперь принято выражаться, глубокую неуравновешенность души. Но, быть может, как раз это его качество и притягивало меня, выросшего в дисциплине строжайшей, неодолимым очарованием. И как внезапно ввел я его в недра нашей семьи, так некий злой гений двух наших судеб толкнул меня не только познакомить его с отцом Веры – Лагутиным, но и рекомендовать его отменнейшим образом причина, почему чуть ли не с первого знакомства Михаил получил приглашение приехать на каникулы в лагутинскую усадьбу.

Глава вторая

Тетушкин салон

Библиотека моей тетушки, графини Кушиной, где велись воскресные разговоры, была комнатой, обличавшей пристрастие хозяйки к наукам оккультическим. В такой комнате мог бы проповедовать граф Сен-Жермен и начать свои успехи Калиостро.

Над бархатным угловым диваном шли в причудливых рамках картины, вскрывавшие, по свидетельству тетушки, символику девяти Дантовых адских кругов, Самого Данте тетушка относил к adeptам того же тайного ордена, к которому, по намекам, принадлежала и она с юных лет, И вот почему, указуя на противоположную стену, украшенную диаграммой ее собственноручной работы, а может быть и измышления, тетушка любила сказать:

– Мое вдохновение совершенно подобно вдохновению Дантову, и ежели б этого он не признал, то, уж конечно, не стал бы давать мне знак утверждения, троекратно стуча ножкой столика.

В эту зиму сделалось модным верчение столов и общение с духами, чем, как известно, увлекались не одни поэтические головы, подобные Федору Ивановичу Тютчеву, а люди значительно посолонней.

Диаграмма тетушки, которую называла она: «Птолемея система применительно к государству Российскому», занимала всю стену и по первому взгляду казалась огромной мишенью, какие бывают в тирад летних садов, развлечением для стрельбы в цель.

По лазурному атласному фону, долженствующему изображать небесную сферу, шел огромный белый круг, включающий в себя, с небольшими просветами, еще несколько концентрических кругов. Все круги были нашиты тетушкой на первоначальную сферу небесной лазури. Помнится мне, ярко-желтый круг, включенный в круг белый, достоинства божественного, обозначал самодержавие, а в дворянский, травянисто-зеленый, цвета надежды, включен был круг черный, круг труда землепашца. Все круги были отменного материала, обметаны чудесным тамбурным швом и включены, как пасхальные яйца, друг в друга. Получалась приятная глазу и завлекающая воображение выразительность.

И, поясняя диаграмму своей маленькой ручкой в перстнях, говорила тетушка какому-нибудь стороннику немедленного освобождения крестьян:

– Как это ты, батенька, хочешь расстроить гармонию русской сферы? Едва один кружок выхватишь – ан все и отпорются. Тамбурная строчка на том и стоит, что петля в петлю вяжется: тут либо все сохрани, либо чуть тронь пойдет прахом.

У тетушки в библиотеке бывал писатель Достоевский, или – как тогда звали его в нашем кругу – Достоевский. В то время первоклассным его никто не почитал, а переводя оценку литературную на более мне обычную в военных чинах, не совру, ежели скажу, что ходил он, приблизительно, не более как в майорах. Григорович против него был полковником, а уж генералом – как тетушка раз навсегда решила – Иван Сергеевич Тургенев.

Soirees¹ тетушки распадалась обыкновенно на две части. Первая, так сказать, разговорная часть протекала в библиотеке, завершаясь легким чаем, вторая – был ужин в парадной столовой для связей сердечных и родственных.

В библиотеку вхожи были люди разного чина и звания, но к ужину оставались строго свои.

И библиотечные гости сами знали, что званы только на чай, после которого прощались с хозяйкой.

¹ Вечера (фр.)

Взяв на свой страх появление Михаила, я дорогой просил его выражать свои мнения без резкости, а того предпочтительней хранить их про себя.

– Не беспокойся, – сказал он мне, – будущий деятель обязан учиться и наблюдению.

После этого разговора о «Князе Серебряном» мы на другой же день с Михаилом стали на «ты». Как будто по взаимному уговору, мы больше с ним в политические споры не вступали, безотчетно не желая расстраивать тех не подверженных человеческой воле симпатических нитей, которые, по неисповедимым наукой причинам, как в любви, так и в дружбе притягивают иной раз ни в чем не сходных между собой индивидуумов.

Не происходят ли такие пересечения с людьми по предназначению каждому данного гороскопа, чтобы совершились над каждым все ему присужденные в нашей грустной юдоли испытания? Из дальнейшего будет видно, что с нами обоими вышло именно так.

Мы вошли в библиотеку. Михаил с нарочитым почтением подошел к ручке тетушки, на что та в ответ благосклонно сказала ему, по своему обычаю обращаясь на «ты»:

– А, Сережин приятель! Что же, послушай нас, стариков, да на ус намотай. Аль не выросли?

Тетушка – в седых буклях, с яркими глазами – одевалась всегда в черный шелк, с воротником драгоценного кружева. А ручки ее были в перстнях с амулетными камнями. Постоянство избранного ею облика и чудачества выделяли тетушку из других дам ее круга, подверженных изменению моды, и придавали ей интересность загадки.

В библиотеке, кроме отца Веры, Эраста Петровича Лагутина, осанистого старика, сегодня были мне сплошь незнакомые новые люди: нарядные дамы, много военных и бледнолицые «архивные» юноши. Последние еще Пушкиным остроумнейше аттестованы так: «Стоит их тронуть пальцем, дабы полилась из них всемирная ученость, ибо они всё знают, они всё читали».

Когда мы вошли, эти юноши друг за дружкой, как молодые борзые, еще не умеющие травить зайца, накидывались на невысокого средних лет человека, стоявшего спиной у окна. Он отвечал им с поразившим меня раздражением и совсем не в той манере, какая принята для светского разговора.

– Это Достоевский! – шепнула мне тетушка, зараз и с гордостью и с снисходительным извинением, как о человеке, не знающем обычаев нашего круга.

– Да, я написал это в статье и повторять не устану, надо веровать, что русская нация – необыкновенное явление всего человечества! – выкрикнул Достоевский.

На слова «всего человечества» он так сильно нажал, будто собирался навеки вдавить их в лоб слушателей. Я заметил – это многих покорило: всякая подчеркнутость для светских людей – признак дурного тона, а он словно весь был подчеркнут. Движения угловаты, голос глух и без основания выразителен. Словом, в нем не было и тени той одаряющей приятности, благодаря которой человек, на деле вам ничем не помогший, запоминается вами с благодарностью навсегда.

– Как это вы, сударь, сказали? Мы, русские, явление в истории человечества? – разъярился вдруг один почтенный, очень европейский старичок. – Как? И даже при условии, что в семье цивилизованных народов мы всего без года неделю, да и то под понукой дубинки Петровой?..

– А *propos*², – прервал другой старичок, давнишний поклонник тетушки, как опытный светский рулевой торопясь перевести колючий разговор в спокойное русло, – а *propos* – кто помнит, господа, как недавно Погодин убил наповал одну славянофильскую музу, осуждавшую между строк как раз вот эту дубинку Петрову?

² Кстати (фр.)

Архивные юноши пустились наперебой приводить цитату Погодина: «Хоть каша, замешенная Петром, и солонна и крута», – начал один, а другой на лету словно блюдо выхватил: «... да по крайности есть что хлебать, есть чем быть».

Положение было спасено, и светский салон не утратил бы своего легкого, порхающего характера без углубления в тяжелые материи во вкусе учителей-бурсаков, если б не легкомыслие кузины.

– Почему именно русским вы отдаете такой преферанс перед англичанами и французами? – сказала она и наставила на Достоевского свой Черепаховый лорнет.

Поначалу Достоевский ответил даме как бы шутя:

– Англичанин, сударыня, до сих пор не любит видеть никакой разумности во французе, и обратно француз в англичанине. И тот и другой в целом мире замечают лишь себя самих, а всех других мыслят как себе личное препятствие...

Но уже через минуту Достоевский забыл и о барыне и о салоне. Отдаваясь потоку собственных заветных мыслей, он, как ураган, смял плотину всех светских обычаев. При этом, не соразмеряя силы своего голоса с комнатой, он пустился громить, как с трибуны.

– Таковы все европейцы. Идея общечеловечности все более стирается между ними. Вот причина, почему они совершенно не понимают русских и величайшую особенность характера нашего, способность всечеловечности, они называют безличием. Сейчас особенно, когда христианская связь, соединявшая народы, с каждым днем теряет свою силу, сейчас особенно необходимо...

В эту минуту случилось необычайное для нравов салона.

Михаил, не сводивший горячих глаз с говорившего, забыл все свои обещания и то, где он находится, шагнул вдруг на середину комнаты и, не владея собою, крикнул:

– Если прежняя связь, соединявшая народы Европы, слабеет, то это лишь признак того, что связью старую должна сменить новая – социализм!

Это был удар грома. Ахнули дамы, перешепнулись архивные юноши, тетушка грозно встала. Один лишь Достоевский, слегка побледнев, с интересом глянул на Михаила и сказал:

– Наш спор с вами длинный, зайдите ко мне как-нибудь...

Неизвестно, каков был бы финал этого фармазонского выступления Михаила, если бы не подоспела на помощь одна не относящаяся к делу случайность.

Лакей, подносивший тетушке чайный поднос, где был огромных размеров английский чайник кипятку, поскользнулся и должен был обварить Лагутина, сидевшего рядом, если бы не Михаил. Он стоял сзади и одним порывом заслонил собою старика. Весь чайник кипятку, таким образом, он получил на свою правую руку, которая немедленно стала багрово-алой.

Дамы разохались, тетушка принесла мазь и бинты и, властно засучив рукава Михаила, стала делать ему перевязку.

Здесь я должен оговорить одно как бы пустяковое, но для дальнейшего крайне важное обстоятельство: немного выше запястья у Михаила была черная родинка, по форме совершеннейший паук. Как пером, отмечены были на белой коже тонкие ножки. Паук этот – следствие испуга матушки Михаила, когда она им была в тягости.

Паука этого одна сердобольная девица, – как сейчас помню, – слегка пискнув, пыталась смахнуть кружевным платочком с руки Михаила, в ответ на что он превесело рассмеялся и рассказал происхождение диковины.

Гости изъявили сочувствие пострадавшему, шутили над пауком и девицей. Михаил отшучивался и просил тетушку помиловать лакея, его обварившего.

Так в светском обществе ничтожное обстоятельство меняет впечатление от всей личности. За минуту подозрительный и пренеприятный юноша стал вдруг всем мил и любезен.

– Молодой человек, – сказал Михаилу старик Лагутин, нюхая из табакерки с той вельможной жеманностью, как это умели делать одни лишь старинные люди, – вы спасли мне

больше, чем жизнь. Вы спасли меня от ужаса быть ridicule³. Сегодня мне надлежит появиться на рауте в Михайловском дворце, а с лысиной, вздувшейся пузырем, я бы принужден был сидеть дома, обвязанный платком а la московская просвирня.

Достоевский откланялся и, проходя мимо, еще раз сказал выразительно Михаилу;

– Итак, я вас жду для дальнейшего спора.

Михаил молча ему поклонился.

В салоне стало весело: остряки подробно вычисляли возможный полет чайника и смехотворно выводили, у кого и что именно должно было быть обваренным, если б не смелая интервенция Михаила.

На прощанье тетушка ему сказала:

– Приходи с Сергеем еще; хоть ты, батюшка, и зубаст, да зато не квелый, как архивные. Ну, дай срок, мы тебе зубы обточим. Ты из киевского корпуса, говорил Сергей; знаем, чьи это штуки...

Тетушка намекала на известных киевских педагогов: одного – родню Герцена, другого – учителя словесности с вреднейшим направлением.

Михаил, к радости моей, ничего не возражая, лишь вторично приложился тетушке к ручке.

Да, я опять должен оговорить второе примечательнейшее обстоятельство: среди гостей присутствовал один человек, на которого обваренная рука Михаила не произвела вовсе действия, смягчившего и даже как бы совершенно затушевавшего его дерзкую фразу о социализме. Человек этот был молодой блестящий генерал, граф Петр Андреевич Шувалов, начальник III отделения, высокий красавец с таким правильным и породистым лицом, что в своей неподвижной белизне оно казалось отлично раскрашенным мрамором. В движениях его не было ничего лишнего: точная определенность, как следствие способности к мгновенной обдуманности поведения.

Шувалов вышел вместе с нами в переднюю. Старый тетушкин лакей ловко набросил на плечи ему николаевку. Плотнo запахиваясь, Шувалов сказал, глядя своим острым взором в черные глаза Михаила:

– Молодой человек! Примите дружеский совет и остережение: не всякая поспешность может завершиться удачно. Памятуйте также одно изречение Кузьмы Пруtkова: «Степенность есть надежная пружина в механизме общежития».

Михаил, сверкнув своими зубами, не без задора ответил:

– У Кузьмы Пруtkова есть и применительно к вам, ваше превосходительство, нравоучительное изречение: «Не все стриги, что растет».

Шувалов мило улыбнулся, как светский человек, показывая, что в частном доме он вовсе не начальство, и как-то знаменательно сказал Михаилу:

– До свиданья! Мы еще с вами, конечно, увидимся.

О, сколь горестно сбылось в скором времени его предположение!

По дороге домой я сказал Михаилу:

– Советую тебе быть с ним осторожней; он управляющий Третьим отделением и жестокий карьерист, не оглянешься – подведет.

– Какое мне до него дело! – вспыхнул Михаил и, понизив голос, сказал с глубиной, незабвенной до последнего дня моей жизни: – Поверь, Сергей, я, как Рылеев, уверен, что погибну, но пример мой останется. Ибо, как истинно утверждал этот герой-поэт, вся сила, вся честь революции в словах: «Каждый дерзай!»

По спокойной ленивости моей природы и привычному доверию, что рука промысла ведет каждого неисповедимыми путями, я не стал противопоставлять Михаилу авторитетные

³ Смешным (фр.)

в нашем доме, совсем иные взгляды на земное устройство. К тому же, после напоминания тетушки о вольнодумстве киевских педагогов, я понял, что атеизм и мечтания революционные не были следствием испорченной натуры Михаила, а лишь чужими перенятыми мнениями.

Я решил противоречить ему только в крайности, а лучше всего, не теряя с ним чисто приятельской связи, водить его чаще к тетушке, где он будет встречать людей, не менее господ Огарева и Герцена желающих пользы отечеству, но с пониманием последней в совершенно иной диспозиции.

О, сколь розовы и детски неопытны были эти мечтанья! Михаил наотрез отказался посещать салон тетушки, угрюмо сказав: «Хороший охотник не ходит дважды в то же болото». Впрочем, со мной он стал так усугубленно ласков, что меня это даже задело; он, будто с игрушкой, отдыхал со мной от своих мрачных дум, любил бороться, загибать салазки, играть в чехарду. Бывал он приступами бурно весел, а порою чувствителен; именуя меня пастушком с картины Ватто, он просил читать вместе Шиллера. Вот тогда-то мы оба пленились дружбой маркиза Позы и Дон Карлоса и посадили в училищном саду Деревца.

Впрочем, глубокое значение нашим отношениям, как вскорости оказалось, придавал я один. У Михаила уже к тому времени все, даже священнейшие, чувства были одним только средством для приближения к злодейскому замыслу, которым он был одержим/

Глава третья

Поездка к озеру Комо

Мне сейчас предстоит переход к тому этапу наших отношений с Михаилом, когда событие на балу в институте превратило его из пленительного друга в заклятого врага, не только личного, но и политического.

Но как мне сейчас говорить о последнем обстоятельстве, когда, благодаря произведенной в стране революции, во мне самом, как уже сказано, произошло изменение, вырвавшее с корнем доверие к себе самому!

Так многократные бури вырывают крепкое, но ниоткуда не защищенное дерево.

Окончательно убедился я в том, что не только подточен фундамент, а, как негодное, рухнуло все мое внутреннее здание, когда я попал в упомянутый выше день, двенадцатого марта, на Дворцовую площадь.

Я переходил эту площадь, как всегда, с особым волнением. Вот она, все та же, вознесенная при императоре Николае, Александровская колонна, и все тот же над колонною ангел. А над Главным штабом все та же квадрига и рвутся кони. Я уже семьдесят два года, с десятилетнего возраста, все помню, как рвутся эти кони, а их держат воины.

Сейчас на площади – четыре громадные мачты. Верхушкой они выше штаба, а на каждой крылатое красное знамя. От главного полотнища, как от хоругви, с обеих сторон легкие лопасти-ленты. Они выются красными змейками.

Человек вверху, снизу глядеть – малый карла, укрепляет знамя. Развернулось оно, блеснуло серебром, и явственны буквы: «пал западный фронт». И второй, и третий, и четвертый столбы – все увенчаны алым, на всех серебро: «пал восточный, пал южный, пал северный». Эти знамена – в память недавно бывших четырех фронтов. Были – и нет их.

И кто, кто поймет человека? Ведь какой гордостью взыграло мое старое сердце бывшего вояки! Спыхватился: что такое? Эти знамена не меня вовсе касаются, даже совсем наоборот. Я, начальник эскадрона, я, который из уст своего государя слышал: «Поздравляю тебя георгиевским кавалером»... я, который верил всю жизнь, что монарх помазан свыше... И когда, в семнадцатом году, пришел к Потапычу рабочий и сказал: «Чхеидзе смеется, что помазанник смазан», я ведь в петлю полез. Вынули, отходили, – зачем? Чтобы мне дожить до предела скорбей? Стать себе самому и палачом и казнимым?

Да, как палача к лобному месту, влечет меня к этой площади. А дойду там мне казнь. Разве могу, например, не припомнить, как впервые мальчонкой тут я шел с моим батюшкой, лейб-гвардии сапером? Батюшка, указуя на дворцовое крыльцо, с волнением сказал:

– Сережа, в незабвенный день четырнадцатого декабря двадцать пятого года хранимый высшей силой император Николай нам, саперам, вручил отсюда своего первенца-цесаревича. Царь приказал лобызать отрока первому от каждой роты; я был одним из счастливцев.

Сейчас здесь уже красные войска. Как-то перед концом зимы, когда выдалась совсем необыкновенная погода, прибрел я на это свое лобное место. Туман стоял такой густоты, что Главный штаб был затушеван до незримости как бы множеством кисейных завес. Кто-то, тоже незримый, с высокого амфитеатра производил смотр войскам, и проходили войска. Будто из бесконечности возникали. На миг явственны – и, глядь, уже канули в ночную бесконечность.

Впереди Балтфлот в курточках, брюки клеш, с наушниками шапки. За Балтфлотом, как зимние зайцы-беляки, мохнатые белые лыжники; дальше кавалерия. Из молочной перламутровой мглы выступают одни лошадиные морды да первых рядов молодцы; крупы коней уже тонут в тумане. Над конями, от половины, как бы возникает из облаков колонна и над нею ангел, черный и громадный. И столь дивно звучала команда откуда-то и ни от кого! Люди слушали и, как прежние, заводные, шли.

– Почище старых, – сказал кто-то в толпе. – Те, ровно бараны, знай глазами жрали начальство, а эти с собственным смыслом. Сознательные, революционные войска.

Уж насколько они сознательны, и похвально ли вообще это военному, не берусь судить, но что они уже не шантрапа, как их именуют враги революции, а регулярные дисциплинированные войска – очевидная несомненность. А коль скоро есть у страны войско – есть опять и страна.

Как добрел я, не знаю, – шатался. «Эй, назюзюкался самогону!» кричали мне мальчишки. Добрел. К счастью, в комнате никого. Сел и заплакал.

Штатские люди этого не поймут. Но для военного тут все. И как же это, как? Прежнего уклада жизни нет, а войско есть? Да ведь с войском, дай срок, по всем швам докажут, что возможно прежнее развитие жизни воскресить. А что, если лучше прежнего? Есть войско, есть и страна.

Что же, прав, что ли, был Михаил? Помню его с запрокинутой головой, лицо ветру навстречу. Глаза мечут искры, в руках Герценов «Колокол». Свернув его в трубку, как маршал жезлом, Михаил машет им вправо и влево. И, должно быть, у него в мыслях толпы народа, и это им он кричит своим грубым гневным голосом:

– Совершенное уничтожение нелепого самодержавия есть вызов к жизни нового строя, новой, прекраснейшей жизни.

И вот опять спрашиваю: что, если окажется прав Михаил, отдав без оглядки свою свободу, свой светлый разум за это дело, и новая жизнь, как уже во многом сейчас примечаю, выйдет окончательно справедливее прежней? В таком случае кто же тут Иуда, который погубил Михаила не только как соперника личного, а как борца за эту вот свободнейшую и лучшую жизнь? Но кому до меня дело! О нем одном речь, пока действует память и хоть дрожит, но выводит буквы рука.

Как уже сказано, наше имение было совсем рядом с имением Лагутиных. Веру по слабости здоровья, не в пример прочим институткам, по настоянию отца отпускали летом домой. Проводя каникулы вместе, мы с ней жаждали видеться зимой. Многие интересы нас связывали; я кончал училище, она институт. У меня всегда было много женственного в натуре, и хотя как воин я не из последних, но втайне знаю про себя, что гожусь только лишь в общем строю. Дерзкая независимость, столь любезная характеру Михаила, мне совершенно чужда. Склонность влекла меня к искусству живописи. Часами я мог поглощаться сочетанием красок и чудесными световыми эффектами. Предполагаю, по тому месту в жизни, которое брало у меня восхищение созерцательное, что рожден я был только художником. Но как в моем звании дворянина и военного не подобало серьезно предаваться искусству, мои качества поэтические, не помещенные как дарование, выражались в чрезмерной чувствительности. Это сразу приметил Михаил и окрестил их «сентиментами Бедной Лизы».

Веру Лагутину я обожал с детских лет, а она мной командовала. Теперь это должно было измениться, но как взять верный тон, я не знал. И можно ль поверить нелепости? Михаила, коему втайне я завидовал как мужчине и хотел подражать, я сам подговорил ехать на торжественный бал, чтобы подсмотреть, как он себя держать будет с женщинами, и затем самому подхватить этот тон. Глупец! Как было мне не понять, что если сам я им столь зачарован, то как избежать этих чар существу, которому по самой его природе надлежит быть плененным силой и мужеством?

Но моя голова была полна какими-то грезами, и действительной жизни я не понимал.

Хотя Михаил ехал в институт первый раз, а я ездил постоянно, волновался я больше него. То духи мне казались неприлично крепкими, то думалось, не плохо ли выбрит мой подбородок, то назойливо представлялось, что на блестящем, как зеркало, полу большого танцевального зала я сегодня поскользнусь и с собой увлеку свою даму.

Сколько бы я ни видел его, по моей великой чувствительности к перлам искусства изобразительного я без особого волнения не мог подъезжать к этому чуду строительства графа Растрелли – собору Смольного монастыря.

В тот знаменательный день белые пилястры на голубовато-сером фоне как бы продолжали атмосферу морозного вечера и придавали и без того легчайшей постройке невещественность совершенную.

Башни-церкви, монастырские помещения вызвали память об итальянском зодчестве и преданиях о чудных девах, чудовищах, драконах и рыцарях. За садом, через синий лед Невы, мигали то тут, то там далекие огни в домишках предместья.

Весною, в воскресный день отпуска, я, бывало, любил, взяв у лодочника быстрый ялик, перерезывать в этом месте широкую водяную гладь, не уставая любясь на несравненные пропорции собора, сизо-дымчатого в заходящих лучах. Я любил воображением выполнять иной план Растрелли, превысивший безумием своей сметы даже расточительный век Елизаветы, почему он и не получил заслуженного воплощения.

Первоначально Растрелли затеял взметнуть на берегу Невы колокольню в шестьдесят саженей, крытую золотом и серебром, с белоснежными украшениями на фоне ослепительной бирюзы. Для постройки заведены уже были особые кирпичные заводы, к заводам приписаны были деревни, а чугунная черепица отливалась под руководством иностранного мастера.

О, зачем не рожден я был в век Возрождения, когда все три Парки, по велению Рока, первенствующей нитью вплели в историю человечества пробуждение чувства к прекрасному! Там был бы я не последним жрецом.

Но, капризно для смертного, ныне судьба путает этикетки. Не в своем веке, в чужом духу его окружении, не на своем месте рождается человек. Впрочем, Яков Степанович, мудрейший из старцев, которого я в дальнейшем введу в свой рассказ, пояснил мне строптивые недоумения моей мысли так:

– Премудрость строения мира противоположна человеческой справедливости, и все наше горе лишь в том, что нам этого нечем понять. Но ежели б поняли, то не дивились бы, почему, например, на убийство избирается тот, кому в тайниках сердца нет тяжелее пролития крови, а кровожадный поставлен в условия благодетеля. Исполненный дарований бьется ради хлеба насущного, и скудны в своем тупоумье богатые... Но посудите: разве по добровольному хотению человек впряжется в ярмо или глянет внимательно в жизнь другого? Нет, как стрела, метнувшись из лука, он полетит по одной своей линии. Но люди – не одинокие стрелы, а малые капли. Из них надлежит быть великому океану. Вот для того, чтобы могли мы расширить свои берега, полезно каждому и работать и жить не в своей скорлупе.

– Впрочем, – прибавил Яков Степанович, – понимать это надо особенно, а не то усугубишь ерундику жизни.

Однако я так отвлекся, что и для черновика разорительно. Бумагу-то из подвала таскать запретили.

Вчера девочки набрали полный подол, а управдом налетел, велел им снести назад в кучу. Но все же об институте скажу несколько слов.

Моя тетушка, графиня Кушина, рассказывала мне, что первоначальный замысел Екатерины был – создание воспитательного заведения для образования «новой породы людей», при ближайшем участии, как во Франции, просвещенных монахинь.

Для этой цели святейший синод посылал московскому митрополиту указ персонально пересмотреть игумений и монахинь, чтобы выбрать достойнейших. Но оказалось так мало грамотных и хотя бы только пригодных для услуживавших в лазарете, что они в небольшом количестве оставлены были, так сказать, для ландшафта. Скоро Екатерина увлеклась в своих поисках влияния на «новую породу людей» в направлении, более соответствующем ее личным вкусам, а именно: привлечением к тому делу Вольтера и Дидерота.

Тетушка Кушина, ненавидевшая энциклопедистов, рассказывала, что Вольтер, давший обещание написать благонаправленную комедию для девиц института, но привыкнув выводить одни лишь кощунства, всякий раз, приступая к сей невинной работе, заболел сильным расстройством желудка. Екатерина жаловалась Дидероту, что за преклонностью лет старик не способен на изящное творчество для театральных упражнений девиц, на что Дидерот, не меньше безбожник, доподлинно отвечал: «Комедии для девиц будут составлены мною, и притом ранее, нежели я достигну преклонных лет».

Но, как известно, Дидерот не потрафил императрице, настаивая на преподавании в институте в первую голову анатомии – науки, по мнению тетушки Кушиной, почти что лишавшей девицу невинности.

В традиции Смольного до конца его существования живописно вплетены были эти обеты, при его основании взятые Екатериной: нечто от монастырской повадки в соединении с прелестной живостью светскости вольтерьянской. Воспитанницы сохраняли свои неуклюжие одеяния из добротной негнушейся ткани зеленого, голубого, кофейного и белого камлота, белые пелерины и фартуки и привязанные рукавчики так же ритуально, как монашенки – облачение монашеское. К этому присоединялись внешняя богомольность, обилие образков, суевение и ладанки, кроме того – обычай держать за щекой непроглоченный кусок освященного артоса на труднейших экзаменах, запихивание ватки от Иверской, нарочно привезенной из Москвы, во вставочку для пера при письменной математике. Рядом с этим переходили от выпусков к выпускам изощреннейшие способы переписки амурной и легкость завязок и развязок романов с «подоконными супирантами»⁴. Последнее производилось без различия сословия и ранга, что отнюдь не имело места при вопросе серьезном о замужестве, которое заключать со «шпаком» или офицером негвардейцем можно было при окончательной пламенной, «роковой» любви или из-за особых, чисто житейских преимуществ жениха.

Институтки с малолетства до выпуска оторваны были от родной семьи. Под руководством особо подобранных учителей обучались они разным наукам и упражняли свои таланты в искусствах танцев и рукоделия. Помимо обучения предписывалось развивать, по замыслу основательницы заведения, «веселые мысли» и доставлять им разные «непорочные забавы». Вот почему блестящей кистью Левицкого запечатлено не однажды кокетливое обаяние девиц Хованской, Хрущевой и Левшиной в костюмах маскарадных и бальных.

Со времен екатерининских институт оставался в особом приближении ко двору, и девицы, вследствие частого посещения дворцов и внимания царственных особ, были полны повышенного и несколько экзальтированного монархического чувства, но Вера, под влиянием Линученка, своего побочного дядюшки, о котором будет подробная речь, отнюдь не разделяла общего обожания институток к царской фамилии. Хотя она и была на линии *chiffreuse*, она настойчиво умоляла отца, не доводя ее до класса пепиньерок, взять домой. Но старому Лагутину, при всем его вольтерьянстве, было лестно, чтобы сама императрица прищипила шифр⁵ к левому плечу его дочери, что давало ей право бывать на придворных балах и приближало к званию фрейлины. Это звание кружило не одну честолюбивую головку, особенно сейчас, когда прекрасная наружность и грация вызвали особое внимание государя и были причиною немалого фавора не только по отношению к взысканной девице, но и ко всем ее близким. Последнее обстоятельство возбуждало порой низкую страсть сводничества в ближайшей родне. Так в случае, который предстоит воскресить мне в памяти, заинтересованным лицом являлся не кто иной, как родной отец девицы, титулованной и богатой, но соблазненной блеском, придворной жизни.

⁴ Супирант (от фр. *soupirant*) – вздыхатель

⁵ Знак отличных успехов при окончании института.

Мы подъехали к зданию самого института. Да, конечно, нужен был изощренный талант Джакомо Кваренги и его благороднейший вкус, чтобы без скуки и казарменности создать длиннейший фасад в более чем сто саженей, при том, что единственным украшением его являются лишь трижды повторенные полуколонны с роскошными капителями. Институт этот поистине достоин быть рядом с пышной роскошью собора Растрелли. Так великие зодчие, чуждые мелкому соревнованию, умели передавать из рук в руки факел красоты. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю, что Кваренги, в знак особого преклонения перед творением Растрелли, во всякую погоду снимал свою шляпу перед Смольным собором, кланяясь низко его создателю...

Огромный швейцар Матвей Иванович, в красной ливрее с орлами и с бронзовой булавой, нас, как и прочих гостей, встретил при главном входе с поклоном. Старшему швейцару была присвоена двора его величества камер-лакейская ливрея. Другой швейцар открыл дверь, третий снял шинели. Мы натянули белые замшевые перчатки и пошли вверх по мраморной лестнице, устланной красным сукном. Звуки вальса, как шампанское, мне ударили в голову, и я вошел в след за Михаилом, заранее смущаясь, что не сумею найти Веру.

В громадном белом зале в два света шел в длину по обе стороны ряд стройных колонн. Гирлянды зелени вились от одной стоячей люстры к другой вдоль всех стен. Огромные, в рост, портреты царствующих особ под светом люстр переливали шелками, драгоценностями, слепили горностаевой мантией, но не могли затмить своей пышностью скромной прелести институток. Девы были однообразно одеты в камлотовые платья с обнаженными шеей и руками, в кисейных пелеринах с большими розовыми бантами. В своей юной свежести они, как нежный яблоневый цвет, облетающий под ветерком, носились в танцах по залу. Начальница – высокая кавалерственная дама в небесно-голубом форменном платье – в окружении целого штата таких же ярких классных дам, в просторечии «синюх», важным кивком отвечала на почтительность наших поклонов.

Всякий раз, когда я попадал в это женское царство, я терялся и то одну, то другую головку принимал за Верину, и мне то тут, то там кричали:

– Сержик, Серж Русанин!

– Вот она у колонны, – указал мне Михаил Веру Лагутину.

Я поразился:

– Как мог ты узнать ее, не выдавши?

– В этом нет ничего сверхъестественного, – усмехнулся Михаил. – Мне компасом послужила чудесно спасенная от обварки лысина ее отца; гляди-ка, она отражает, как в зеркале, люстру. Старик – ни дать ни взять – индюк в орденах, но дочь очень мила.

И Михаил, не озираясь на меня, своим стремительным легким шагом перешел зал. Он расшаркался перед Лагутиным и, будучи им тотчас представлен Вере, через минуту уже с нею вальсировал. Когда я подошел звать Веру на контрданс, оказалось, что она уже первый отдала Михаилу. Мне ничего другого не оставалось, как стать визави с одной из приятельниц Веры, Рассеянно слушал я щебет своей дамы:

– А представьте, малявок совсем не пустили на бал, но они сделали ужас: вообразите, надушились мылом бергамот!

– Как же так мылом!

– Наскоблили ножом, натерлись – и запахи, как целая лавка сквернейших духов. Душиться ведь нам разрешается только в самых старших классах, и бергамот – неприличнейший запах.

– А какой же считаете вы запах приличным? – спросил я, чтобы поддержать болтовню моей дамы и тем облегчить себе наблюдение над визави.

У Веры и Михаила были совсем не бальные лица. Иногда, как бы спохватываясь, они улыбались и для вида бросали пустые фразы. Но я видел ясно: у них сразу же вышел серьез-

нейший разговор. И как же могло быть иначе? Вера читала бездну книг, и у нее давно были вредные фантазии. Будучи внучкой декабриста, она особенно относилась ко всем либеральным бредням, а в деревне у нее в столике был заперт томик Рылеева.

– Да, он недаром носит свою фамилию, – услышал я восторженный голос Веры в ответ на что-то, тихо сказанное Михаилом, – я благородней сердца не знаю.

Она сделала ударение на слове «сердце», и я понял, что этот каламбур относился к Герцену.

Мне всегда было страшно за Верино направление мыслей, но сейчас радость соперника охватила меня.

Я подумал: нет, так романы не начинаются, быть может, Михаилу удастся, как тогда по-новому выражались, «распропагандировать» Веру, но едва ли он пробудит влюбленность в ее воображении. А с вредными его мыслями я через салон тетушки Кушиной сумею вести ловкую борьбу. Тетушка Веру очень любила, и та ей платила взаимностью.

Но происшествие, чрезвычайное по своему значению, как рука великана Гулливера в стране лилипутов, в один миг смело все хитроумные ходы моей маленькой шахматной игры.

Вдруг среди девиц произошло невероятное смятение. Все, бросив танцы, кинулись к окнам с криком:

– Карета в главном подъезде!

Средний подъезд, всегда запертый, раскрывался лишь для царских особ. Классные дамы, пунцовые от волнения, увели куда-то группу красивейших воспитанниц, которые в короткий миг появились снова, облаченные в заготовленные на этот случай парики и костюмы маркиз и маркизов. Прочие институтки выстроились полукружием, скрывая девиц, костюмированных как при Екатерине. При появлении государя с начальницей все, как одна, под приветственные звуки музыки опустили в глубоком придворном реверансе. Заиграл традиционный менуэт. Маркизы с маркизами выпорхнули из засады и, соединившись в колонну, пошли по направлению к царю.

Александр II был в гусарском мундире. Столь эффектный в санях или верхом на параде, как любили изображать его живописцы, он проигрывал без соответственного военного окружения. Он был хорош, как составная часть картины, выделяясь из войска отличнейшим от всех ростом, наследственной от отца богатырской грудью и неподдельностью царской осанки. Но среди цветущей юности, где вместо монументальности любезна прелесть интимная, он был только импозантен. Притом лицо его, уже немолодое, поражало своей желтизной, а глаза, не соответствуя восхищенной улыбке и приятности грассирующего разговора, оставались неизменны своему оловянному, как бы застылому выражению.

Очень красивая пепиньерка сказала царю стихотворное приветствие и, густо покраснев в ответ на его приглашение сесть рядом, опустилась в кресло. Царь сделал знак музыке, и бал возобновился. Государь очень скоро удалился, сопровождаемый адъютантом, нить чай в апартаментах начальницы. Во время антрактов между танцами, когда Вера и мы с Михаилом, как сопровождающие ей пажи угощались оршадом и конфетами в живописном уголке между фикусов, гиацинтов и пальм, Верина подруга Китти Тарутина подошла к нам со своим правоведом.

Китти, курносенькая и веселая блондинка, нам сказала:

– Хотите участвовать в поездке к озеру Комо? Мы с Верочкой знали, что это значит, и, смеясь, согласились, посвятив в секрет Михаила. Одна из классных дам, молодая и всеми любимая итальянка, не отличалась стародевической чопорностью прочих синих. Она охотно предоставляла девицам в своей комнате видаться с братьями и кузенами. Молодая и веселая, она сочувствовала шалостям молодежи, но, дабы не пострадать ей самой в случае доноса, дело было обставлено по взаимному соглашению так: дверь в комнату классной дамы будет только притворена, но никак не заперта на ключ. В случае, если нагрянет контроль, попавшиеся должны будут сказать, что они зашли сюда самовольно.

Прикрываемые дюжиной камлотовых юбок подружек Китти, величайших охотниц до шаловливых эскапад, мы выскользнули вон из зала, не замеченные строгим оком дежурившей инспектрисы. По бесконечным коридорам мы отправились в комнату итальянки, где на стене висел огромный вид прелестного озера Комо, чьим именем называлась вся веселая затея.

– А вы знаете, Земфира исчезла сейчас же, как только ушел государь? Она в него влюблена по уши, – сказал Киттин правовед про пепиньерку, говорившую приветственный стих. За восточный тип лица ей дали прозвание Земфира, как это часто водится в закрытом заведении.

– И предпочтение, которое ей оказывает государь, тоже всем очень заметно, но фрейлиной императрицы ей все же не быть, – сказала досадливо Китти. – Она неуспешна в науках, начальница ее не выносит и даст ей плохую аттестацию.

– Государь часто вас посещает? – спросил Михаил.

Китти, польщенная вниманием красивого, но доселе сурового юнкера, стала с удвоенной скоростью болтать о том, как обожаемый царь любит внезапно посещать институт.

– Чаше всего он появляется вечером, в часы, обычные для уроков танцев у старшего класса. Иногда царь приходит в столовую, садится за стол и пьет с нами чай из казенной кружки. Разумеется, кружку эту мы разбивает и делим кусочки. Многие девочки носят их в ладанках на груди, а одна даже съела.

– Эта девица, очевидно, сродни страусу, – усмехнулся Михаил.

– О нет, у нее фамилия чисто русская! – возразила наивная Китти и под общий наш смех продолжала лепет, который, как я заметил по нахмуренным бровям Михаила, немало его раздражал. Но Китти не смущалась:

– Во время обеда государь садится то к одному столу, то к другому, поровну, чтобы никого не обидеть. Теперь, впрочем, он все больше идет к пепиньеркам и садится рядом с Земфирой, она нарочно самая крайняя... А в прошлом году постом государь приходил к нам на вечернюю молитву и, на «господи владыко живота моего», вместе с нами бил поклоны.

– Хорошая подготовка к реформам! – начал было Михаил так насмешливо, что Китти на половине слова споткнулась, а правовед с холодным удивлением оглядел его с ног до головы.

Вера вспыхнула, но нашла, как спасти положение.

– Бежимте скорее, а не то другие займут наше место! – вскричала она и, схватив меня и Михаила за руки, кинулась с нами вдоль бесконечных коридоров, пересекающих один другой и путаных, как лабиринт, Китти и правовед побежали вслед за нею.

Вот и комната итальянки. Дверь притворена, но мы дернули – она отворилась. Заслышав голоса вблизи за углом, мы поспешно вошли на цыпочках. Как стая пичуг, знакомых с выстрелом охотника, мы с опаской присели на край большого дивана, в случае чего готовые вспорхнуть или спрятаться.

Опасность могла угрожать из дверей другой комнаты, принадлежащей той же классной даме, но через коридорчик, смежный с комнатой инспектрисы. Последняя, под видом дружественного покровительства, любила войти невзначай, чтобы проверить красивую и легкомысленную итальянку. Китти, как мышка, сбегала в коридор и, удостоверившись, что инспектрисы нет дома, пришла нам сказать, что мы в безопасности.

Вдруг из другой комнаты, тоже запертой изнутри, мы услышали голоса: женский плачущий и утешающий мужской. Говорили по-французски.

– Однако я с таким трудом вырвался от почтенной начальницы совсем не для того, чтобы сейчас утонуть в ваших слезах, прелестная Земфира. Что же касается вашего отца, то, поверьте, мои нежные к вам чувства уже давно заручились его родительской санкцией, а его радость видеть вас фрейлиной...

Мы не могли не узнать этого голоса, так же своеобразно грассирующего в любовном лепете, как мы привыкли это слышать в публичных приветствиях и на парадах.

– Итак, не правда ли, до очень скорой и решительной встречи? Я не враг мифологии и, подобно проказнику Зевсу...

Тут послышался малоискренний смех и поцелуи. Мы вскочили, испугавшись своей невольной нескромности, и кинулись к выходу. Но Михаил с искаженным лицом поднялся и шагнул к дверям.

– Ты себя погубишь, – шепнул я ему, стиснув руку, – государь сейчас может выйти отсюда.

– Я ему не позволю губить...

Глаза Михаила горели таким бешенством, что, казалось, способны были одной своей силой причинить зло человеку.

Я выбежал в коридор, где уже не было ни правоведа, ни Китти. Одна Вера, бледная лицом и плечами, как призрак, стояла в глубокой нише, Я стал с ней рядом и тихо взял ее руку в свою.

Я не постигал, как могла дверь итальянки остаться без стражи, но две фигуры в дали коридора мне объяснили загадку: молодая воспитательница и адъютант, увлеченные собственным флиртом, не заметили, как покинули свой ответственный пост.

Государь, очевидно, выходя от начальницы, чтобы еще раз подняться в зал, зашел в комнату, соседнюю с «озером Комо», где его по уговору уже ожидала Земфира, для каких-то окончательных решений.

Минуты тянулись часами. Вдруг дверь запертой комнаты отворилась, и кто-то вышел. В ту же минуту, задыхаясь от волнения, глухой голос Михаила сказал:

– Это... низость!

Мы не дышали. Я почему-то ждал выстрела. Но выстрела не последовало.

Государь торопливым, убегающим шагом, не свойственно своему обычаю втянув голову в плечи, как бы не желая быть узнанным, вышел из комнаты. Он в один миг свернул за угол. Испуганные адъютант и итальянка подбежали к нему.

– Там был ее брат? – гневно спросил государь, должно быть вспомнив неприятную историю с Шевичем.

– Ваше величество, у нее нет брата, – сказала смертельно бледная итальянка.

– Там не должно было быть никого...

И, не появляясь более на балу, раздраженный государь уехал в сопровождении своего адъютанта. Из глубокой ниши, меня скрывавшей, я видел, как итальянка кинулась в свою комнату искать, кто там был, но Михаил, открыв противоположную дверь в коридорчик, благополучно исчез. Мы с Верой пустились бегом в танцевальный зал.

Прошло более полувека, когда, в один из зимних дней 1918 года, я снова попал как-то в Смольный. Я метался больной и бездельный по столице, ища приюта у прежних друзей и знакомых. Многих не было в живых, другие не оказались на прежних местах.

Влекомый узами прошлого и неистребимым во мне интересом художника, я добрал до института, где мы с Михаилом были на балу.

Весь длиннейший фасад, как и тогда, в день бала, горел огнями, и так же непрерывно вливался в огромное здание поток людей. Но это не была линия нарядных карет с лакеями на запятках. Здесь не было рысаков с драгоценными полостями и кучером, возглавляющим наподобие идола козлы.

В средний, главный, исключительно царский въезд, охраняемый вооруженными красноармейцами, тянулся бесчисленный хвост, держа в руках листки-пропуска.

Автомобили, мотоциклы, серые броневики, все с красными флагами, с воем сирены, с трубными звуками, то и дело влетали и вылетали, из ворот, охраняемых тоже двумя рядами часовых. Везде пулеметы. Шумели моторы, суетились люди с портфелями.

Мохнатые шапки делали лица суровыми. Многие в защитного цвета и серых военных пальто, где от споротых пуговиц и наскоро снятых погон были свежие следы. Крестьяне – в онучах и лаптях, с ружьем на веревочной перевязи. Все кричат и все спорят. Когда вышли из

подъезда двое штатских и, взобравшись на большой ящик, сказали несколько слов, им не дали кончить. Их речь покрыл пропетый всей площадью «Интернационал».

– Что тут такое? – спросил я одного, сильно вооруженного, с очень свежим и почему-то мне знакомым лицом.

– Чрезвычайное заседание Петроградского Совета, дедушка, – охотно сказал он и, в свою очередь вскочив на ящик, повысил голос до крика, обращаясь ко всем:

– Товарищи! Социализм – отныне единственное средство, с помощью которого страна избежит нищеты и ужасов войны.

Зажженный пикетом костер вдруг ярко осветил говорившего, и, когда он кончил и слез, я невольно вскрикнул:

– Я знаю вас! – и я его назвал.

Я хорошо был знаком с его отцом и самого юношу совсем еще недавно видал в гимназическом мундире и особенно запомнил по причине резких левых речей против войны. Речи эти мне очень напомнили Михаила.

Сейчас юноша был пламенный коммунист. И он узнал меня. Это он дал мне денег и помог устроиться у Ивана Потапыча. Сам же он торопился, как говорил, на «красный фронт». Там вскоре доблестно пал он одним из первых. Его имя прочел я в «Известиях», которые принес мне Горецкий 2-й. Вместе помянули мы храброго юношу, а кстати отца его и деда, столь же доблестно павших первыми в свое время, но на иных фронтах.

Глава четвертая

Ведьмин глаз

Пасха в том году была не очень поздняя. В зеленом пуху стоял лес, и особенно зловеще чернели старые сосны от соседства с цветущей молодой порослью. Таким и остался у меня в памяти этот путь в Лагутино – зловещим.

Был шестидесятый год. Крепостное право доживало последние дни. Среди разных направлений и кружков, за и против освобождения, было немало отдельно стоящих, очень образованных, вольтерьянского закала дворян, над которыми ни бог, ни человеческие постановления не имели никакой власти – в первую очередь выступал их собственный самодурный нрав.

Таков был отец Веры, Эраст Петрович Лагутин, один из умнейших людей своего времени, по собственному выражению не веривший ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Всю цивилизацию обзывал он мировым свинством, что, однако, не мешало ему иметь у себя в Лагутине отменную картинную галерею. Он видел в раскрепощении крестьян нарушение пределов своей власти и навыков и напоследок, как говорят, распоясался вовсю.

Был Эраст Петрович вдов и большой женолюб. За барщину мужики его не корили, но так как не пропускал он ни одной пригожей девки или бабы, то злоба на него была велика.

Дочь его Вера выросла сиротой под опекой француженок, то вознесенных прихотью барина на положение хозяйки дома, то разжалованных в бонны при дочери. Эти бонны часто менялись. Вера приучилась жить в самой себе и прибегать за поддержкой к самым верным и скромным друзьям человека бесчисленным книгам отцовской библиотеки.

Правда, наше имение было рядом, но с матушкой моей, великой хозяйкой и хлопотуньей, у Веры близости не вышло. Была она несколько дика и безмолвна и матушке моей непонятна. Может быть, впоследствии отношения бы обошлись, но матушка скоро скончалась, я осиротел, а над имением опекуной назначили тетушку Кушину.

Один я делил с Верой досуги. Собирали все лето грибы и ягоды, обучались вместе французскому языку и танцам. Вере нравились изобретаемые мной рисунки и сказки, которые во множестве я ей посвящал. Но, хотя мы и были погодки, Веру чувствовал я гораздо зрелее себя. Ее вопросы касательно цели жизни и мучения насчет участи декабристов были мне совершенно чужды. Декабристы, в глазах моих, казались обыкновенными мятежниками, усугублявшими свое злодеяние тем, что они были хорошо образованны и дворянского рода. Но Вера их чтила героями.

Жизнь в нашей усадьбе при матушке и позднее, под управлением тетушки, мирно текла, как у прочих помещиков средней руки. Тысячью интересов, кумовством и взаимным расположением из рода в род владельцы Угорья были связаны со своими людьми.

Ближе всего к сердечной и умственной жизни Веры была одна неприятная мне чета, сыгравшая впоследствии немалую роль в ее необыкновенной судьбе.

Верстах в трех от усадьбы жил художник Линученко со своей женой Калерией Петровной. Он был ученик знаменитого живописца Иванова, того самого, который чуть ли не тридцать лет писал одну и ту же картину «Явление Христа». Картина эта была выставлена в свое время рядом с батальной живописью некоего Ивана, и, признаться, на большинство посетителей последняя произвела впечатление сильнее, чем мускулатурой коней. Повторяли также эпиграмму остроумнейшего Федора Ивановича Тютчева о том, что громадный холст Иванова изображает собой не апостолов, а является фамильным портретом семьи Ротшильдов...

Художник Линученко – по боковой линии дядюшка Веры. Надо обмолвиться: насколько наш род был спокоен и в простоте души выполнял свои обязанности верноподданных дворян,

настолько род Лагутиных был тревожен. Он славился необыкновенными похождениями дедов, увозом чужих жен, кутежами, дуэлями, а при Александре Благословенном – чернокнижием и богопротивной мерзостью.

Порода Лагутиных высокая, плечи – косая сажень, волосы кудреватые, нос прямой, с особо красивыми ноздрями, а глаз, под дугообразной бровью, светлый и острый, как у ястреба.

Дед Веры от любовного каприза с украинской девкой прижил сына, Кирилла Линученка, которого отдал в обучение живописцу, а матери его отрезал в приданое пятьдесят десятин к хутору, но дарственной на эти десятины он не дал, сказав: «Пока я жив, не стоню». Эраст Петрович подтвердил то же самое.

Вот этот, в то время пожилой уже, художник и побочный дядюшка Веры был и закадычнейшим ее другом.

Линученко, наполовину холопской крови, имел в деревне кучу родни. Он не только ее не чурался, но, напротив, всячески защищал и только и делал, что науськивал Веру против отца. Кроме того, давал ей в руки вольнодумные книжки, неустанно толковал о правах человека и прочих атеизмах французской революции, которых сам был усердным поклонником.

Он этим достиг того, что все кровные естественные чувства дворянки были у Веры жестоко искажены. И не мудрено, что столь злочно возошли в ее беспокойной и великодушной душе зловредные семена, брошенные рукой Михаила. Впрочем, во всей пагубной силе влияние Михаила на Веру я понял позднее.

После случая в Смольном мы так крупно поспорили с Михаилом, что потеряли всякую охоту общаться. Он грубейшим образом поносил государя за его человеческую слабость, столь понятную при красоте, которой он обладал. Я защищал государя, утверждая, что половина приписываемых ему похждений не что иное, как порождение клеветы, а другая половина лишь является ответом на вызов со стороны легкомысленного, хотя и прекрасного пола, который втайне почитает за счастье свою так называемую «гибель» от монарших ласк. Частный же случай, на который мы натолкнулись, был вызван сводничеством родного отца этой пепиньки, титулованной и изрядно богатой, честолюбиво желавшей себе звания фрейлины.

Михаил оборвал меня, как обычно, бунтарской речью против самодержавия и сказал: – С корнем бы их, как крапиву, да и дворян всех туда же... И вырвем, дай срок!

Я остановил его, прося не испытывать дольше моего терпения верноподданного, ибо я обязан, по чувству долга, вызвать его на дуэль, так как донос не по мне, а пресечь его поносную речь я обязан.

Михаил совершенно неожиданно засмеялся добродушнейшим образом и весело сказал:

– Ну, цветы в невинности, не буду тебя разъярять; успеешь в чинах даст бог – меня же и повесишь!

С тех пор мы перекидывались самыми поверхностными разговорными речами. Но помешать приезду Михаила в Лагутино я уже не мог. Он был туда приглашен самим стариком, угодив ему ловкостью в танцах и снискав его благосклонность с того достопамятного вечера у тетушки, когда был спасен Михаилом от кипящего чайника. О том же, что Михаил под видом кузена посещает Веру в институте, старик вовсе не знал ничего. Сейчас Вера, вследствие общей слабости и малокровия, в виде исключения была отпущена на праздники домой. По всем признакам, отец согласился наконец уступить ее настояниям и взять ее из института совсем.

Сейчас мы почти молча проехали десяток верст, отделявший Лагутино от почтовой станции. Созерцая по своему обыкновению излюбленный мной закат солнца в широком просторе полей и смягченный умиляющим душу зрелищем, я стал говорить Михаилу иносказательно о моей любви к Вере. Я упомянул о Платоновой мифе – двух рассеченных половинках человека, которые при встрече должны непременно или слиться, или погибнуть. Михаил понял и сказал:

– Подобная любовь недостойна человека. Погибнуть можно никак не от чего-нибудь, а только за что-либо. Каждому, ежели он мнит себя человеком, надлежит иметь соответственную высокую идею. – И, подумав, прибавил: – Впрочем, сие – привилегия нашего брата. Прекрасный пол чаще всего обречен на гибель бабочки от огня.

– Значит, ты думаешь, – не скрывая радости, прервал я, – женщина не способна пойти на костер, как некогда Иоганн Гус и ему подобные?

Я решил, что Михаил был желчно настроен против Веры из-за неуспеха своих бунтарских речей.

– Женщина пойдет куда угодно, – возразил Михаил, – но редко сама, чаще за тем, кого она любит.

Как я был счастлив; опять надежды были при мне! Ни внезапного румянца, ни потупленных и вдруг вспыхнувших взоров, этих безошибочных улик юной страсти, не наблюдал я ни разу при встречах Михаила и Веры. Конечно, я знал, что на приемах в институте Михаил, почтительно кланяясь, подавал Вере не французские конфеты, как стояло на коробке, а ту или иную либеральную книжку. Разговоры же их были всегда серьезны, на мой взгляд – отменно скучны. Со дня на день я ждал, что и Вере все это обучение надоест и она будет искать разнообразия хотя бы в искусствах, более свойственных поэтической юности. Тем часом, дабы быть – в противовес Михаилу – во всеоружии своего дела, я усердно посещал императорский Эрмитаж и прочел немало иностранных увражей⁶ касательно чудесных коллекций картин.

Старик Лагутин встретил нас на крыльце, увитом свежей хвоей. Во множестве нарезанные прутья с зелеными перьями-листьями были причудливо воздеты на высоких шестах. Казалось, в Н-ской губернии вдруг возросла, роща финиковых пальм. Перед домом была покрыта немалая горка молодым газоном, и десятка два красивейших девушек в нарядных сарафанах и парней в алых, как маков цвет, рубахах катали разноцветные яйца. В ряд, сверху вниз, шло множество деревянных желобков, и весело было смотреть, как синие, красные, зеленые и желтые яйца драгоценными камешками катились друг за дружкой в изумруд муравы. В заключение повели хоровод, и все девки и бабы пошли христосоваться с барином, а он их одарял кого рублем, кого платком.

– Из всей христианской религии сего поцелуйного обряда я – наибольший поклонник, – сказал старый греховодник Лагутин.

Он захохотал, показывая крупные, еще целые зубы. Он был дороден и красив, но совершенно лысая голова и жирный кадык, как это верно нашел Михаил, делали его похожим на индюка.

Я глянул на Веру: лицо ее было бледно и выражало тревогу, она не спускала глаз с Мосеича. Этот уродливый человек с большой головой, но ростом с малолетнего, был злым гением Эраста Петровича.

Сам из французских дворян, образован и жесток, он служил у Лагутина по вольному найму. Он был по фамилии Charles Delmasse, но мужичками переименован в «Мосеича». Человек этот обладал всей извращенностью умного дьявола. Обучившись по-русски, он объединил в своей особе весь цинизм и утонченность своей безбожной нации с жестокой грубостью наших нравов. По части безнравственности и садических удовольствий себе лучшего наперсника и советника Эрасту Петровичу было бы не сыскать. Посему в деревенской глуши он особенно дорожил Мосеичем, уважая его к тому же и за прекрасный французский язык.

Когда черед христосоваться дошел до красавицы Марфы, молодой жены Петра-конюха, отличного парня, Мосеич шепнул что-то Эрасту Петровичу. Тот ухмыльнулся и сделал вид, что не заметил, как Марфа, спрятавшись за соседку, нырнула в толпу девушек, чтобы мино-

⁶ Увраж (от фр. ouvrage) – сочинение, труд.

вать барского поцелуя. Но когда все, поблагодарив за подарки, пошли с песней домой, Эраст Петрович повернулся к старосте, дрянному угодливому мужику, и небрежно обронил:

– Петра не вредно б отметить.

Вера вспыхнула и, подойдя к отцу, смело сказала:

– Нет, батюшка, вы не сделаете Петру худого!.. Брови Эраста Петровича дрогнули, и как-то еще более побелели острые светлые глаза, а ноздри раздулись. Но он себя сдержал и, обернувшись к дочери, сказал ей по-французски:

– Мое желание – чтобы ваши юные мечты не выходили из стен вашей библиотеки.

– А теперь, – обратился он к нам, – прошу, пообедайте без меня, я прощаюсь с вами до вечера. Пользуйтесь деревенской свободой в свое удовольствие: есть отличные верховые, есть лодка и экипажи... Но куда бы ни заехали, чуть взвоятся над домом три ракеты – прошу всех обратно. Я приготовил вам спектакль и сюрприз: последний, надеюсь, для всех трех одинаковый! – Эраст Петрович обвел нас всех взором, от которого мне стало не по себе.

Обед прошел довольно чопорно, с лакеями и блестящей сервировкой. На месте хозяина сидела старуха Архиповна, Верина няня: таков был каприз старика после изгнания последней француженки.

– Пойдемте на хутор к Линученкам; быть может, они уже приехали! сказала после обеда Вера.

Взволнованные, каждый от своих причин, мы долго шли молча по деревне. У околицы свернули в улочку, узкую, словно труба, – двум телегам не разъехаться. У ставней сбоку, как хвост у собаки, болтался железный болт, и хоть был большой праздник, а не убраны стояли то тут, то там корыта и валялись тряпье и битые черепки.

– Какая темнота! – сказала Вера. – Уж сколько раз выгорала деревня, а строят всё снова по-старому. Зато у батюшки целая полка книг по усовершенствованию деревянных построек. До бедных крестьян никому нет дела.

– Дайте срок, – возразил Михаил, – они сами возьмутся за ум, только б нам не зевать.

Мне, конечно, не нравился их разговор. Мы проходили такими чудными лужайками, где уже голубели цветы и медовый одуванчик потряхивал золотой головкой. Я сорвал самый крупный, поднес его Вере и сказал:

– Тут, как в ромашке, стоит только сказать: «Поп, поп, выпусти собак», – черные козьявки и вылезут.

Вера глянула на меня в упор своими светлыми, как у отца, глазами и с усмешкой сказала:

– Вы, Сержик, опоздали родиться; вам бы, правда, быть пастушком с картины Ватто.

В первый раз, что она мне говорила это с насмешкой; я это отнес за счет влияния Михаила и умолк.

Тропинка наша то терялась в оврагах, то растекалась в широких песках в одно с ними общее море.

Я глядел, как Вера ловила свой газовый шарф, сдуваемый ветром, глядел и не мог наглядеться на это лицо. Оно было необычайно. Будто не одно, а два лица – не слитые, а включенные друг в друга. В худощавом теле, подавшемся вперед, в узких покатых плечах, как на старинных портретах, была почти слащавая покорная женственность. Цвет лица, слишком белый, с неестественной розоватостью щек, придавал лицу нечто кукольное. Когда шла она, как сейчас, склонив голову с заложенными назад светлыми косами, приходила на память какая-то средневековая покорная жена. Вот держит она стремя рыцарю или, сидя за пяльцами, высматривает запоздавшего в кутежах властелина. Но вот, отвечая на какой-то вопрос Михаила, Вера подняла глаза. И в них показался иной ее облик. Глаза серые, твердые, с той же ястребиной хваткой, как у отца, с затаенной мыслью, которую – умрет, а не захочет – не выскажет.

На хуторе ждала неудача. Сторож сказал, что Линученко прислал письмо: он не может приехать, и передал Вере записку, которую она читала, бледнея.

– Калерия в чахотке, – сказала она, – и они уехали на год в Крым. О, как мне будет страшно тут без них! – вырвалось у ней невольно. И того не замечая, она взяла под руку Михаила, а он крепко пожал ей руку, как бы обещая защиту.

А я, пастушок Ватто, значит, теперь уже ей не в счет.

– До вечера времени много, – предложила Вера, – пойдемте к озеру.

И мы пошли.

Недалеко от хутора, как говорили, по старому шляху в город, было странное место. Сходились близко один к другому высокие холмы, поросшие широким листом зеленой мать-мачехи и каким-то пахучим кустом. У своего подножия холмы эти вдруг обрывались, и ровной блестящей водой стояло небольшое круглое озеро, неизвестно как тут возникшее; говорили: по заклатью старой помещицы над непокорной дочерью, бежавшей с заезжим гусаром. Здесь настигли беглецов злые думы матери: от этих злых дум кони увязли в трясине, а над ней забурлили ключи, и к утру было ровное, как чашечко, озеро. Тут Верина няня, Архиповна, в рассказе вставляла пояснение: «Старая-то помещица ведьма была. Чай в час тот пила, брови сдвинула, как повернет полную чашку на блюде: «Пусть и ей, непокорной, так будет!» Вот озерко и круглое, ровно чашка с чаем. Одно слово – ведьмин глаз».

Вера эту знакомую мне легенду рассказывала дорогой Михаилу и, кончив, выразительно глянула на него и промолвила: «Вот за непокорство дочери я это озеро и люблю». А Михаил засмеялся.

Нет, решительно у них что-то затеяно, надо быть настороже.

Вера села на большой камень. Михаил рядом с Верой, а я в ногах у нее внизу. Солнце зашло, небо было нежно-зеленое.

– Смотрите, первая звездочка, – показала Вера, – да какая чистая, будто умытая. Скоро пустят ракеты, надо поспешить домой, а мне, признаться, просидеть бы на камне всю ночь...

– Я в небе одну звезду люблю, – сказал Михаил. – Звезду Веспер, воспетую поэтами, предвестницу зари. И знаете, почему? Еще в детстве я где-то прочел, будто алхимики верили, что Венера дает земле треть той силы, что получает от солнца сама, а получает она много больше земли. И потому дух земли должен быть подчинен духу Венеры, полнокровному, жизненному духу знания опытного. Басня эта мила и моему нраву очень любезна. А тебе, Сергей, уж наверно, любезней стишок: «Приди грустить со мной, луна, печальных друг!»

– Не понимаю твоих слов, – сказал я. – Что такое путь опытный и в каком это смысле?

– А в таком, что ежели древний смельчак испытывал сильное чувство, так он его не душил во имя земных добродетелей и каких-то там небесных благ. Он чувству своему отдавался и – что надо было – свершал. Да, один только опыт, доведенный до конца, отсекает все то, что непригодно для роста. И когда настоящие, свободные люди создадут наконец последующим поколениям прекрасную жизнь, достигнуто это будет не трусливым умыванием рук, а одной лишь попыткой, хотя бы насильно, но опрокинуть негодные формы, заменив их формами лучшими. Итак, во имя жизни надлежит быть хозяином жизни!

Вера слушала Михаила, как пророка, а меня высокомерный тон возмутил, и я сказал:

– Но кто же тебя-то поставил этим хозяином над другими и кто порукой, что ты думаешь мудрее и лучше других?

Не забуду лица Михаила, когда, сперва покраснев, а потом по привычке откинув голову, он сказал совсем не высокомерно, а в какой-то особой сердечнейшей глубине:

– Так бывает с иным человеком, что для себя самого у него нет больше радости на земле, пока на ней худо другим. И такой человек, даже в случае, если свяжет себя какой-нибудь иной связью, кроме блага всего человечества, большой утехи от этого не получит, только лишится своей самой нужной и драгоценной свободы. Да, так. Словом, явились люди, явятся еще и еще, которые не захотят требовать счастья себе, а радостно будут искать, где и куда сложить свои силы на освобождение и радость всеобщую!

Михаил нагнулся ко мне и, как давно этого не делал, положил свою руку ко мне на плечо.
– Милый Серж! – сказал он. – Тебе сладостен каждый закат солнца, луна и стихи. А подумал ли ты, где у тебя на все это право, когда кругом, быть может, люди и лучше и умнее тебя всё еще рождаются, живут и умирают рабами?

– Михаил... – начала и почему-то не кончила Вера.

А у меня в сердце как нож: не договорила она от волнения, или уж ей так привычнее его звать и только невзначай она обнаружила всю короткость их отношений?

Вдруг послышался стон, кто-то всхлипывал на дальней могиле. К озеру почти вплотную примыкало старое кладбище.

– Никак это Марфа на могиле своей матери! – воскликнула Вера и, легко перепрыгнув канаву, отделявшую нас от кладбища, подбежала, к молодой женщине. Марфа повалилась в ноги Вере и заголосила:

– Заступись за Петра, не то ему лоб забреют!

Вера стояла бледная, с поникшим лицом.

– Батюшка меня не слушает, – сказала она.

– Что же мне – руки на себя наложить? Его забреют, а меня, сама знаешь, к себе возьмет вместо Палашки. Да я в прорубь скорей...

– Слушай, Марфа! – сказала Вера; лицо ее было жестко и горело почти тем же светом, как у Эраста Петровича, когда он, бывало, тихонько говорил: «На конюшню пороть»... – Завтра на заре жди меня в голубятне, лучшего места нет. И ты узнаешь, что я решу. Поверь мне в одном: я тебя в обиду не дам, по» терпи до утра.

Когда успокоенная Марфа пошла домой, Вера сказала Михаилу:

– Мы включим ее в наш кружок. Иного выхода нет.

– Ну, что же? – сказал Михаил. – Баба, кажется, молодец.

Меня эти двое откровенно не замечали, должно быть не в шутку относили к эпохе Ватто.

Взвились одна за другой три ракеты, мы встали и, прибавив шагу, пошли обратно к усадьбе. Дом был освещен разноцветными шкаликами. С балкона верхнего этажа до балконов нижнего они ниспадали сверкающими гирляндами. Это был великолепный барский дворец работы Монферрана, строителя Исаакиевского собора, с белоснежной колоннадой и сводчатыми крыльями по обе стороны главного корпуса.

Освежившись в приготовленных нам комнатах, мы с Михаилом облеклись в новые мундиры, лакированные бальные сапоги и, стараясь ступать в них мягко и размеренно, появились среди гостей.

Посреди зала устроен был грот, где бил прелестный фонтан, а на камнях под цветущими олеандрами, замаскированными так, что не видать было кадок, а казалось, что будто деревья росли меж камней, сидели грации, пастушки и нимфы.

Сквозь узкие прорези шелковых черных масок лукаво сверкали глазами костюмированные гости. Огромные стенные зеркала отражали всю эту роскошь и как бы передавали ее в бесконечность. В глубине зала возвышалась сцена, куда внезапно по хлопку хозяина, под звуки незримого в зелени хора, умчались от бассейна нимфы, пастушки и грации.

На Эрасте Петровиче надет был бархатный кафтан его деда, екатерининского вельможи, с лентой и регалиями. В соответствующем парике, он казался важным выходцем с того света.

Кроме нас, не костюмирован был еще один гость – князь Нельский, ближайший богатый сосед, очень просвещенный и гуманный человек, уже немолодой, но с лицом прекрасным по выражению душевных качеств.

Эраст Петрович настоял, чтобы мы облеклись в костюмы маркизов; князь в кафтан гпарлахового бархата, мы – в одинаковые голубые камзолы и парики.

Мы были с Михаилом одного роста, так что, надев маски, легко могли сойти друг за друга. Обстоятельство это оказалось новым звеном в той объединяющей нас тяжелой цепи, которой, не спросясь, нас сковала судьба.

Перед ужином Вера, прелестно носившая костюм «помпадур», шепнула мне в ухо:

– Сейчас беги в беседку! Я глупо спросил:

– Ты придешь?

От звука моего голоса Вера вздрогнула и сказала:

– Нет, Сержинька, не приду, я нарочно... – И легче перышка она отлетела.

Я понял, что приглашение относилось к Михаилу.

Тут словно бес меня обуял. Острая пронзительная ненависть к товарищу, которого моя же рука привела мне на гибель, разбила и пронзила мою душу. Истинны слова некоего старца, которые тетушка Кушина любила повторять: «Бесы не сильнее человека, но, когда человек до них снизится, он станет с ними единой породы, и ему уже их не стряхнуть. Ибо их легион!»

Легион низких страстей пробудился в моей душе. Увы, она не оказалась подобной величавому океану, а дрянным болотцем, подернутым сверху приятной для глаза изумрудной ряской.

Месть, ненависть, оскорбленная любовь и мелочное самолюбие, задетое Михаилом, столкнули меня по крутой тропинке к пруду, где стояла беседка.

Я укрылся в кусты. Начался фейерверк.

Сотни огненных мячей взметнулись в темном небе и, как бы не удержав воздуха, разорвались в вышине и брызнули вниз разноцветными искрами. А озеро, большое водное зеркало, отдало небу обратно огни.

Мои чувства художника были столь дивно встревожены, что на минуту все злое как будто отлегло от души. Но два знакомых голоса заговорили в беседке. О, этим двум не было никакого дела ни до красоты сего мира, ни до моей разбиваемой ими жизни!

Ведь мы все, Русанины, – однолюбы. Две тетки от несчастной любви ушли в монастырь, а дядя Петр застрелился.

– Дорогая моя! – сказал Михаил с таким страстным чувством, которого я не ожидал от него. – Дорогая, так неужто не сон, ты решила соединить свою жизнь с моей?

И в ответ ее нежный голос:

– Ты можешь еще спрашивать?

На минуту затихло: они целовались.

У меня мутнело в глазах, и ракеты, падавшие в воду, казалось, падали в мое сердце и жгли его.

– Но я тебе должен признаться, – голос Михаила вдруг стал отвратительно жесток, – я для своего дела пожертвую и любовью. Когда одна женщина пыталась меня обратить в свою вещь, я едва не совершил убийства. Это было в Крыму... рассказать тебе?

– Мне твое прошлое нечего знать, я соединяюсь с тобой для грядущего, – сказала с достоинством Вера.

– Дорогая, но ведь, кроме лишений, со мной ничего. И это еще в лучшем случае. Мой выбор неизменен: отдать жизнь на восстание рабской страны против деспота. В случае неудачи, ты знаешь, даже не каторга, а виселица.

Но она прервала его древними, как мир, как любовь мужчины и женщины, словами;

– С тобой, мой милый, – на плаху!

Опять убийственное молчание, опять поцелуи. Потом, смеясь как ребенок, она сказала:

– Сейчас за ужином батюшка объявит меня невестой князя Нельского. Он только что строго со мной говорил и был поражен, что я не возражаю ему, как это обычно у нас бывает и по менее важному поводу. Представь себе, это и был обещанный сюрприз всем троим. Батюшка вспомнил вас обоих: «Твои кавалеры, – сказал он многозначительно, – не будут столь спо-

койны, как ты». На что я ответила: «Тем хуже для них! Я ложных надежд никому не давала, и хоть князя я тоже не люблю, но не за мальчишек же мне выходить!» Теперь батюшка далек от подозрения, что к одному из этих мальчишек я завтра сбегу.

Михаил хохотал.

– Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег?

– Утром я обо всем скажу Марфе, а она Петру. Если не удастся вскорости попасть к твоей матушке, как мы решили, то жди письма, я пришлю с Сержем – он верный.

– Да, пороку он не выдумает, но парень, кажется, действительно верный, – сказал снисходительно Михаил.

Несчастный! Это были слова, которые его погубили. Эти слова вырвали из моего сердца последние остатки великодушия, на которое я еще был способен. Как, мне предстояло отказаться от всех радостей жизни, созидать счастье соперника и за все это лишь получить малолестное определение – недалекого парня!

Звуками гонга и труб гостей созывали на ужин. Среди блистательной сервировки и благоухания цветов, вынесенных на торжественный случай в вазонах из оранжерей, Эраст Петрович встал с бокалом шампанского. Он был все в том же кафтане екатерининских времен и особенно торжественен – как французский маршал двора.

– Дорогие гости, почитаю себе за честь объявить мою дочь Веру Эрастовну невестой князя Нельского, – сказал он.

Заиграли туш, пошли поздравления и тосты в честь жениха и невесты...

Я, не в силах вынести вероломных лиц Михаила и Веры, убежал. Последнее вышло как бы естественным выражением моих обманутых чувств, ибо все знали о моем давнем расположении к Вере. Таким образом и тут я остался в дураках, невольно помогая их планам.

Глава пятая

Голубиные шейки

Начинался день. Небо было серое, сеял дождь. Моим измученным чувствам была приятна эта невыразительность природы. К рассвету я забрался в ту беседку, где было ночное свидание Михаила и Веры. Под скамьей что-то белело. Я нагнулся взглянуть: это были листы заграничного «Колокола»; верно, их Михаил обронил этой ночью. Я подобрал с отвращением.

Эти листы были лазейкой хищного волка, через которую удалось похитить ему, убийце и заговорщику, мой покой и отраду. Вид этих страниц, в два черных печатных столбца, был для меня – как гробовая змея древнему князю Олегу; выползающая из мертвого черепа. Бешенство охватывало меня все сильнее по мере того, как в печатном тексте я узнавал почти дословные изречения Михаила. Я не заметил, как в беседку вошел Мосеич.

– Не ожидал я от вас, сударь, столь вольнодумного увлечения, – сказал он по-французски, осклабя свой большой рот.

– И были правы, мой друг, мсье Дельмас, – отвечал я, как обычно называя его по фамилии, за что пользовался неизменной его дружбой. Дворяне, как вы и как я, не должны быть предателями своего сословия. Собственник подобной заразы может быть лишь тот, кто сам ею заражен.

– Подобно вашему другу Бейдеману?

– Я его не назвал.

– Но у меня есть свои наблюдения. Прошу вас, – сказал Мосеич, – дайте мне этот проклятый журнал. Я считаю долгом чести бороться с врагом своего сословия. А в данном случае еще предстоит оградить от злого влияния юную девичью душу. Разве вы не видите: Бейдеман околдовал Веру Эрастовну. Вчера, когда объявили ее помолвку, я подметил интересные вещи: она с ним перемигнулась. Это был взгляд заговорщиков. Они нечто задумали, чему надлежит помешать. Или вас не трогает судьба неопытной жертвы? – прибавил карлик с коварностью.

– Я погибну, но не дам ее погубить! – воскликнул я вне себя.

– Так дайте мне журнал.

Передавая журнал в длинную, как у обезьян, цепкую руку Мосеича, я уже не хочу говорить, как говорил себе всю жизнь, что не знал вполне того, что я делаю. Конечно, я не мог знать той формы, какую примет это мое первое предательство, но не знать, что обличение Михаила как распространителя запрещенных изданий не пройдет для него без вреда, я, конечно, не мог, особенно отдавая журнал такому злодею, как Мосеич.

Я сейчас в тех годах, когда человек больше от своей совести не желает уйти и когда уже больше не тешит никакое прикрытие. Мне осталась бесславная, но гордая отрада: быть своим собственным правдивым судьей. И вот надо отметить; едва я в гневе дал Мосеичу «Колокол», как тотчас кинулся за ним взять обратно. Но, как опытный совратитель, зная все изгибы слабой воли, Мосеич, не дав мне опомниться, скрылся из кустов в подвальном этаже дома. Там была у него мастерская, про которую ходили темные глухи и где, за ходами и переходами, мне б его было все равно не найти. Я горел как в лихорадке, прыгали мысли. Только неизменным оставалось одно руководящее чувство: быть около Веры, не отдавать ее Михаилу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.